

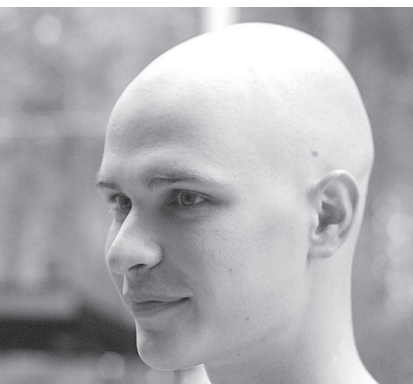
ОЛЕГ  
ЛАРИОНОВ

## Заметки об интеллектуалах и ангажированности

*Writers and Missionaries: Essays on the Radical Imagination*

ADAM SHATZ

London; New York: Verso, 2023. – 358 p.



*Олег Алексеевич Ларионов (р. 1998) – историк литературы, аспирант Оксфордского университета. Сфера научных интересов – русская литература XVIII века, интеллектуальная история, гуманитарная и социальная теория.*

**Н**есмотря на ряд многообещающих начинаний, от «Новой русской книги» до «Logos Review of Books», книжные обозрения так и не заняли значимого места в современной российской публичной сфере. Соответственно, второстепенную роль играет в ней и жанр развернутой рецензии, выходящей за рамки узко профессионального разговора, адресованной широкой образованной публике и перерастающей в самостоятельное эссе. Адам Шатц, один из редакторов «London Review of Books», сравнивает такие тексты с джазом и описывает их как «отклики на и, в некотором смысле, импровизации по поводу уже существующего материала (книги, картины, фильма, опыта)» (р. 8), цель которых не сказать «последнее слово по теме» (р. 11) – а напротив, начать дискуссию, стимулировать мысль читателя. Преимущественно из подобных сочинений состоит и рецензируемый сборник эссе этого автора. Большая часть текстов представляет собой очерки жизни и творчества тех или иных писателей и режиссеров; опираясь, как правило, на уже опубликованные биографии или мемуары, Шатц предлагает свое изложение и

**НОВЫЕ  
КНИГИ**



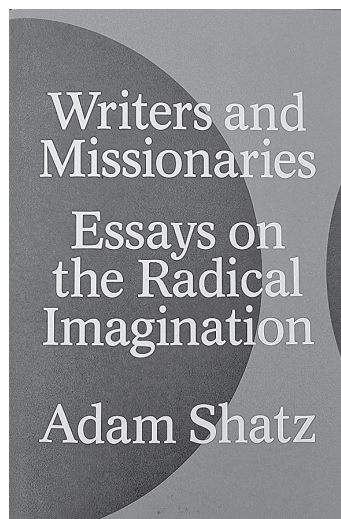
толкование взятых из них фактов, помещает их в интересные его контексты и расставляет нужные ему акценты. Сквозной темой книги он назначает сартровский вопрос о политической ответственности, ангажированности, приверженности (*commitment*) интеллектуала: как можно согласовывать творчество с социальными обязательствами, а взвешенность суждений – с твердостью убеждений? Эту проблему Шатц формулирует, вслед за Видиадхаром Найполом, как противопоставление «писателей», стремящихся к беспристрастному описанию ситуации, и «миссионеров», активно отстаивающих определенную идеологическую точку зрения. В действительности, конечно, граница между этими позициями тонка, и все герои Шатца – носители твердых мнений, которые стремится понять и изложить отзывчивый эссеист.

Впрочем, сам Шатц тоже обладает вполне устоявшимися взглядами и интересами, благодаря которым довольно пестрый по составу сборник сшивается лейтмотивами и тематическими перекличками. Его внимание смещено с родных для него США и Нью-Йорка сразу в двух направлениях: во-первых, оно сфокусировано на Франции, во-вторых, – на арабском мире; из пересечения обоих контекстов вырастает озабоченность прошлым и настоящим Алжира, а еврейским происхождением дополнительно мотивируется – и усложняется – обращение к палестино-израильскому конфликту. Эта, говоря обобщенно, приверженность постколониальной проблематике более или менее явно звучит во всех текстах сборника, который включает в себя не только эссе о давно умерших авторах, но и журналистские «профили» современников – результаты репортерской работы Шатца, отмеченные высокой мерой его личного участия и непосредственной вовлеченности в описываемые ситуации и обстоятельства. Отчасти это колебание между расследованиями на местах и кабинетной эссеистикой повлияло и на композицию книги: в ее первой части, посвященной интеллектуалам североафриканского и ближневосточного происхождения, наиболее концентрированно представлена именно журналистская ипостась автора.

Раздел открывается статьей о Фуаде Аджами, написанной в 2003 году, прямо по горячим следам вторжения в Ирак, одним из идеологов которого и был этот родившийся в ливанской деревне американский профессор. Шатц рассказывает историю интеллектуальной сдачи одиночки, шиита среди суннитов, а затем араба среди американцев, разочаровавшегося в левых и националистических идеях тонкого критика политической и умственной жизни ближневосточных стран, в то же время сдержанно относившегося к действиям США и Израиля. Аджами не выдержал искушения головокружительной (особенно для

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

ЗАМЕТКИ  
ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛАХ  
И АНГАЖИРОВАННОСТИ



эмигранта) карьерой и прямого доступа к власти и постепенно стал безусловным апологетом самого агрессивного американского имперского милитаризма. В следующем эссе рисуется портрет Камеля Дауда, алжирского франкоязычного писателя и колумниста, который в юности был близок к радикальному исламу, но в итоге стал редким для своей страны примером либерала, публично выражающего свои особые мнения. Независимые суждения Дауда, противника религиозного фундаментализма и арабского национализма (последний затушевывает этническое и лингвистическое разнообразие Алжира, где говорят на берберском, французском и очень специфическом локальном изводе арабского языка), привлекли широкое внимание в связи с успехом его романа «Мерсо, контррасследование». Роман – своего рода постколониальная версия «Постороннего» Альбера Камю – получил Гонкуровскую премию; но за триумфом последовали угрозы исламистов расправиться с писателем. Помимо Дауда, который автору явно импонирует, в эссе Шатца нюансированно и зорко изображается Алжир в 2015 году. В центре внимания – режим, который возводит свою легитимность к давней героической борьбе за независимость. Ради собственной стабильности этот режим пытается найти компромисс с побежденными им же в гражданской войне исламистами. Шатца интересуют также контраст между социальным консерватизмом и обеспеченной высокими ценами на нефть модернизацией с элементами западного консьюмеризма и свободы нравов. Еще одна тема эссе – настроения тонкого слоя алжирских интеллектуалов, в том числе и левых, полагающих, что Дауд (знакомая российской публике фигура либерала из полупериферийной страны, ожидаемо критикующего только собственное общество) недостаточно пылко осуждает глобальный капитализм и империализм.

Следующий текст, едва ли не самый увлекательный во всем сборнике, посвящен Джулиано Мер-Хамису – израильскому актеру и режиссеру, основателю театра Свободы в городе Дженине в Палестинской автономии, убитому около него в 2011 году. Сын коммунистов (отец – палестинец Салиба Хамис, мать – еврейка Арна Мер, которая сражалась с арабами во время войны за независимость и боролась за их права после ее окончания), он успел отслужить в израильской армии, сняться в ряде фильмов и погрузиться в богемную жизнь прежде, чем прибыл в лагерь беженцев в Дженине, где его мать занималась филантропическими образовательными проектами. Многие родители и дети, с которыми они работали, позже участвовали во Второй интифаде, а некоторые стали ее жертвами. Особенно тесные дружеские отношения завязались у Мер-Хамиса с Захарией Зубейди, одним из лидеров палестинского вооруженного сопро-

тивления в Дженине. В 2006 году под патронажем Зубейди Мер-Хамис открыл в лагере беженцев театр Свободы, мыслящий как очаг культурного сопротивления израильскому присутствию. Острые постановки вызвали недовольство консервативных сил внутри лагеря; в целом в истории как театра, так и самого Мер-Хамиса – человека харизматичного, яркого и сложного – переплелись множество очень разных обстоятельств и факторов. Тут и палестинская молодежь на перепутье между традиционалистским окружением, культом вооруженной борьбы и желанием творческой самореализации, и коррумпированное руководство Палестинской автономии с его полулегальными практиками. Важную роль во всей этой истории играли (и играют) западные левые спонсоры и симпатизанты палестинского движения. Шатц отмечает общую слабость культуры перед лицом насилия – и то, как легко растворяется революционно-утопический импульс в богемной атмосфере. Венчает запутанную историю жизни Мер-Хамиса его смерть – так и не раскрытое убийство, которое приписывают то израильским спецслужбам, то палестинским властям, то обитателям дженинского лагеря, а то и другу и соратнику героя Зубейди.

Палестинская тема продолжается и в последнем эссе первой части, героем которого является Эдвард Саид – автор знаменитого «Ориентализма», своего рода антипод Аджамии. Изящно написанный биографический очерк отдельно останавливается на том, как Саид, родившийся в западно-ориентированной семье, конструировал свою палестинскую идентичность, выражал ее в своих академических текстах и пытался (впрочем, не очень успешно) участвовать в политике, одно время работая на Ясира Арафата. Шатц лично знал Саида, поэтому, возможно, ему особенно удался живой и сочувственный образ этого «критического, секулярного гуманиста, широко ошибочно принимаемого за радикального противника западного канона» (р. 89), щегольски одетого нью-йоркского интеллектуала, легко ранимого эстета, знатока и подвижника классической музыки, выступавшего за сосуществование культур и плодотворную сложность в противовес агрессивному национализму и плоской политике идентичностей.

Вторая, самая цельная, часть сборника состоит из трех эссе о чернокожих американских писателях, эмигрировавших в 1940–1950-е в Париж. Ричард Райт, интеллектуал-самоучка из рабочего класса, одно время член компартии, затем разочаровавшийся в коммунизме, известен как автор романа о чернокожем убийце и насильнике «Native Son» (1940; «Сын Америки» в советском переводе) – книги, которую позднее критиковали за воспроизводство расовых стереотипов. Впрочем, помимо «Сына Америки», он был автором немалого количества художественных и ме-

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

ЗАМЕТКИ  
ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛАХ  
И АНГАЖИРОВАННОСТИ

муарных сочинений об афроамериканском опыте. Райт прибыл во Францию в 1946 году. С энтузиазмом принятый Жаном-Полем Сартром и Симоной де Бовуар в качестве образцового ангажированного интеллектуала, в эмиграции он не очень удачно пытался развивать эксплицитно философскую, экзистенциалистскую линию своего творчества (еще в США он пришел к выводу об абсурдности, сюрреалистичности повседневного существования чернокожих). Более интересной – по крайней мере, с точки зрения Шатца, – была эссеистика Райта 1950-х, где он откликнулся на антиколониальную борьбу в странах «третьего мира». Райт описал – общее для него и многих представителей африканских и азиатских элит – специфическое «двойное видение», чувство одновременной принадлежности и к западной цивилизации, и к угнетенным народам и расам; причем сложность и противоречивость постколониальной идентичности только обостряется после обретения национальной независимости.

Другой эмигрант, Честер Хаймз, разделял с Райтом ощущение глубинной абсурдности жизни чернокожих в США, но добавил к нему – и в жизни, и в письме – не менее фундаментальный негативизм, нигилизм. Хаймз был человеком сложной судьбы и характера; в юности он отсидел в тюрьме за ограбление, в зрелые годы был склонен к домашнему насилию. Писатель изображал разрушительное воздействие расизма на психологию и жизнь угнетенных с яростью, болью и без надежды на какое-либо спасение. Эмигрировав в 1953 году, Хаймз тем не менее ощущал сопричастность борьбе за гражданские права на родине и черпал вдохновение из жизни афроамериканцев. Во Франции он сочинил серию прославивших его нуарных детективов, действие которых происходит в Гарлеме, а также два тома откровенных, беспощадных к другим и себе мемуаров.

Оказываясь в Западной Европе, чернокожие американцы получали головокружительный опыт жизни вне системного расизма, однако это чувство освобождения одновременно ставило их в зависимость от принявших их стран и порой скрывало критическое мышление. Эта проблема была осознана Уильямом Гарднером Смитом, который впервые попал в Европу в 1946 году в рядах американской армии; в своем дебютном романе он описал освобождающее воздействие на чернокожего солдата любовной связи с немкой. Переехав в Париж в 1951-м, Смит не закрывал глаза на пропитавшую французское общество расовую дискриминацию, жертвой которой были алжирцы. В романе «Каменное лицо» (1963) он изобразил чернокожего экспата, который, избавившись от изначального очарования Францией, солидаризируется (несмотря на недовольство соотечественников) с угнетенными алжирцами и их борьбой. В этом сочинении можно найти самое раннее художественное

описание печально известной кровавой бойни, когда парижская полиция жестоко подавила протесты выходцев из Алжира 17 октября 1961 года. В финале романа главный герой решает возвратиться в США и принять участие в движении за гражданские права, однако сам Смит вместо этого на несколько лет переехал в недавно обретшую независимость Гану, откуда ему пришлось бежать после военного переворота. В 1967-м он впервые после эмиграции посещает Америку и пишет по материалам поездки книгу о новом поколении афроамериканцев и его борьбе с расизмом. К концу своей не очень долгой жизни (он скончался в 1974 году) Смит чувствует оторванность от корней, он привязан и к США, и к Франции, и к Африке, однако эта ситуация лишь укрепляет его политические убеждения, предоставляя ему возможность – поверх границ замкнутых на себе идентичностей – выработать критический взгляд и проявлять солидарность.

Париж продолжает быть одним из главных мест действия и в третьей части книги, серии очерков о знаменитых французских мыслителях и писателях второй половины XX – начала XXI века. Элегантно и умно пересказывая их биографии и идеи, Шатц по возможности заостряет внимание на взаимовлиянии в них личного и политического. Говоря о Клоде Леви-Строссе, он напоминает, что, хотя знаменитый антрополог придерживался весьма умеренных политических взглядов и чурался роли публичного интеллектуала, предпочитая взаимодействию с миром кабинетные построения на грани науки и искусства, его работы о первобытных народах, мифах и «диком мышлении» были современны процессу деколонизации в странах «третьего мира». В эссе о Жаке Деррида леволиберальные взгляды героя – «внимание к нюансам, отказ выбирать сторону, так же, как и окказиональный утопизм» (р. 190) – объясняются тем, что философ происходил из алжирских евреев и, соответственно, весьма сложно относился к войне Алжира за независимость (он выступал за третий путь решения конфликта, а позже аналогичным образом мечтал о двунациональном государстве для израильтян и палестинцев). Ролан Барт служит для Шатца еще одним примером сложного, тонкого автора, который избегал – при общей приверженности левым идеям – публичных политических действий и догматичных высказываний, предпочитая исследовать парадоксы субъективного опыта и сообщая с читателем подрывать социальные и культурные иерархии.

Иная задача решается в статье об Алене Роб-Грийе, отправной точкой для которой служит последнее произведение писателя – «Сентиментальный роман» (2007), опубликованный за год до его смерти. «Сентиментальный роман» полон детальными описаниями сексуального насилия над несовершенно-

летними девочками. Обозревая творчество и жизнь создателя «нового романа», Шатц демонстрирует, что в них всегда более или менее явно присутствовало садомазохистское и педофильское воображение. Он предлагает искупляющее прочтение «Сентиментального романа» как признания в любви к двум главным страстям Роб-Грийе – к литературному письму и его жене (тоже романистке) Катрин, с которой они вместе и порознь предавались БДСМ-практикам. Раздел включает рецензия на роман Мишеля Уэльбека «Покорность» (2015) – фантазию об исламизации Франции в недалеком будущем. Высоко оценивая силу нигилистического воображения писателя, Шатц, однако, остро критикует его представление о французских мусульманах как о цельной группе, принадлежащей к единой «цивилизации», противостоящей (пост)христианскому Западу. Мусульманское население Франции экономически, социально и культурно раздроблено и не образует единой политической силы, а многие связанные с французскими мусульманами проблемы – следствия колониализма, расизма и неравенства, а не абстрактно считаваемой снаружи религии.

Последняя часть книги – чуть ли не самая пестрая по составу. Она открывается рецензией на мемуары Клода Ланцмана, режиссера монументального документального фильма «Шоа» (1985). Шатц рассказывает о богатой событиями жизни Ланцмана – участии в Сопротивлении, дружбе с Сартром, долгом романе с Бовуар. Особая тема рецензии – вопрос об этическом измерении некоторых – манипулятивных – средств, с помощью которых Ланцман достигал нужного эффекта при съемках прославившего его фильма. Однако в фокусе текста Шатца находится другой сюжет – безусловная приверженность режиссера Израилю и его отношение к палестинцам. Как считает автор, фильм «Шоа», как бы вынимающий из истории, деконтекстуализирующий и онтологизирующий катастрофу европейского еврейства, должен был стать свидетельством в пользу политического выбора Ланцмана. «То, что хроникер Холокоста мог стать мистическим поборником военной силы, непоколебимым защитником войны Израиля против палестинского народа и искусным отрицателем израильских преступлений – история примечательная, но вы не найдете ее в мемуарах Ланцмана» (р. 268). Кино и Вторая мировая война фигурируют и в эссе о режиссере Жан-Пьере Мельвиле, криминальные и военные драмы которого с их этикой и эстетикой обреченного одиночества возводятся к опыту, полученному им в рядах Сопротивления.

Следующий текст обращается к одному эпизоду из жизни Сартра – поездке (вместе с Бовуар и Ланцманом) в Египет и Израиль в 1967 году, накануне Шестидневной войны, когда и ара-

бы, и евреи пытались привлечь писателя на свою сторону, а он разрывался между поддержкой национально-освободительного движения и памятью о Холокосте, так в итоге – по крайней мере публично – и не заняв внятной позиции по этому вопросу. Трагическая судьба рассчитывавших на Сартра арабских левых иллюстрируется на примере Арвы Салих – единственной, как признает сам Шатц, женщины среди героев его текста. Салих, египетская коммунистка, в эссе, написанном в 1996 году незадолго до своего самоубийства, раскритиковала иллюзии второй половины 1960-х, высокомерие мужчин-товарищей по партии и фатальную зависимость местных левых от режима Насера.

Раздел завершается эссе, в котором Шатц возвращается к противопоставлению «писателей» и «миссионеров», обобщая свой опыт журналистского взаимодействия с арабским миром – и в первую очередь с Ближним Востоком. Начиная писать о регионе из Нью-Йорка, Шатц придерживался твердых левых убеждений и был уверен в том, что говорит. Оказавшись на Ближнем Востоке, узнав много очень разных людей и познакомившись с региональными особенностями, Шатц вовсе не поменял своих политических взглядов, однако стал гораздо меньше проповедовать и больше передавать противоречивые мнения и взгляды местных людей – иными словами, он начал описывать, а не агитировать. Он призывает к большей осторожности и скептицизму и полагает, что не надо мерить все проблемы региона меркой палестино-израильского конфликта, бездумно поддерживать любого местного диктатора, если тот противостоит американской гегемонии, и вообще приписывать слишком много влияния США, а также догматично воспроизводить критику ориентализма, которая при всей своей верности со времен Саида превратилась в набор клише, блокирующих свободную, независимую мысль.

Сквозь все тексты Шатца красной нитью проходит апология «иронии, скептицизма, сомнения и отстраненности» как «необходимых инструментов радикальной критики» (р. 11). При этом, что интересно, воображаемым оппонентом для него служат не консерваторы, а напротив – сторонники политики идентичностей, *woke*-активисты, которые, не задумываясь, «отменили» бы многих героев книги за резкие слова и неблагоприятные поступки. Парадоксально, но в книге, посвященной ангажированности интеллектуалов, симпатии автора ощутимо находятся на стороне тех его персонажей, которые при всей левизне своих принципов избегали слишком грубой, прямолинейной политической приверженности, культивировали сложность и неоднозначность, колебались и учитывали противоречащие друг другу точки зрения. Даже Сартр, этот образцовый универсальный





интеллектуал, сообщавший миру свое мнение по любым вопросам, показан в той единственной ситуации, когда он разрывался между противоположными обязательствами.

Эссе об интеллектуалах вроде Барта или Деррида читать сколь приятно, столь и в каком-то смысле необязательно: Шатц настолько гармонично отождествляется со своими героями и их комфортными и привычными образом жизни и местами обитания, что в текстах – при всем остроумии и блеске стиля – отсутствует хоть малейшая прореха, шероховатость, проблемность, которая вывела бы их за рамки пускай и самой высококачественной, но очевидности. Гораздо более удачны в этом отношении эссе, пропитанные энергией сопротивления, конфликта, взаимодействия с иным и чуждым: попытки разобраться в бурной деятельности Мер-Хамиса и понять провокации Роб-Грийе, полемика с Узьбеком и Ланцманом, критическая рефлексия своей позиции и журналистского опыта. Общим же свойством всех статей несколько неожиданно оказывается относительная слабость воссоздания контекстов, недостаток глубинного чувства истории. Либеральный фокус на индивидуальном субъекте, легко сочетающийся с жанром эссеистики – уж тем более биографической, – мешает Шатцу вычленив в нагромождении отдельных судеб общие переживания, формы опыта, закономерности, хотя большинство его персонажей были современниками. Даже когда в эпилоге он рассказывает о собственном взрослении, увлечении кулинарией и поездках во Францию, его по обыкновению изящное письмо неспособно ухватить зримых примет времени.

Напоследок попробую бегло задаться вопросом о российском изводе идеи интеллектуальной ангажированности. В эссе 1966 года «Обязательства художника перед обществом» («Artistic Commitment») Исая Берлин (сборник которого о русских мыслителях Шатц упоминает, р. 20) называет зародившееся в статьях Белинского представление о социальной ответственности писателя фундаментальным свойством русской культуры XIX века, которое разделялось всеми выдающимися авторами эпохи<sup>1</sup>. Берлину важно было подчеркнуть, что в рамках этой традиции озабоченность общественными проблемами не подменяла собственно эстетических критериев качества; он, таким образом, противопоставлял эту магистральную линию развития русской литературы большевикам и их предшественникам Добролюбову и Чернышевскому. Тринадцать лет спустя в эссе 1979 года «Поколение на повороте» Лидия Гинзбург увидела в леводемократической ориентации дореволюционной интеллигенции тот символический ресурс, на который образован-

1 Берлин И. *Обязательства художника перед обществом. Русский вклад в мировую культуру // Он же. История свободы. Россия.* М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 33–84.

ный класс опирался, не только принимая советскую власть, но и даже оправдывая сталинизм<sup>2</sup>. Говоря очень схематично, именно эта травма левой ангажированности, окончившейся катастрофой, привела к тому, что поздне- и постсоветская либеральная интеллигенция отождествила дореволюционное чувство ответственности перед угнетенными классами с революцией и большевистской диктатурой – и убедить ее в ценности отечественной социально-критической традиции, объединявшей Белинского с Толстым и Достоевским, уже не мог авторитет никакого Берлина. Для него самого, кстати, образцовыми фигурами служили либерально истолкованный Герцен, а также Тургенев, которому он посвятил вдохновенное эссе 1972 года, где изобразил писателя, социально ответственного и отзывчивого, но в то же время сложного, чуткого к нюансам, понимающего и принимающего разные политические позиции<sup>3</sup>. Едкий Кристофер Хитченс увидел в этой похвале автобиографический подтекст и показал, что за красивой позой прислушивающегося ко всем сторонам конфликта мудреца Исая Берлин порой скрывал почти сервильную готовность служить интересам людей во власти<sup>4</sup>. Характерно при этом, что в начале 2000-х умеренный на грани консерватизма Берлин был воспринят российской либеральной средой с безусловным энтузиазмом. В заслугу ему ставили отсутствие «авантюрного, извращенного влечения к левым идеям, характерного для британских интеллектуалов его поколения», и утверждали, что «для русских начала XXI века, прошедших старые и новые искусы, освобождающую роль сыграть англосаксонский либерализм»<sup>5</sup>.

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

ЗАМЕТКИ  
ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛАХ  
И АНГАЖИРОВАННОСТИ

**Травма левой ангажированности привела к тому, что поздне- и постсоветская либеральная интеллигенция отождествила дореволюционное чувство ответственности перед угнетенными классами с революцией и большевистской диктатурой.**

Может показаться, что ценности компромисса, иронии, сомнения, неоднозначности, которые проповедовал Берлин и которые часто поднимались на щит постсоветскими либералами, очень близки идеалам Шатца. В самом деле, полемичная по

- 2 Гинзбург Л.Я. *Поколение на повороте* // Она же. *Записные книжки. Воспоминания. Эссе*. СПб.: Искусство–СПб, 2002. С. 276–284.
- 3 Берлин И. *Отцы и дети: Тургенев и затруднения либералов* // Он же. *История свободы. Россия*. С. 127–182.
- 4 HITCHENS C. *Moderation or Death* // London Review of Books. 1998. Vol. 20. № 23 ([www.lrb.co.uk/the-paper/v20/n23/christopher-hitchens/moderation-or-death](http://www.lrb.co.uk/the-paper/v20/n23/christopher-hitchens/moderation-or-death)).
- 5 Эткинд А. *Предисловие* // Берлин И. *История свободы. Россия*. С. 6, 8.

отношению к культуре отмены установка эссеистики последнего вполне может быть описана словами первого:

«Радикал считает, что писатель – производное от свойственной этому писателю идеологии, а либерал воспринимает идеологию как производное от темперамента и индивидуальности писателя. [...] Тенденции и политические позиции – функции людей, а не люди – функции общественных тенденций»<sup>6</sup>.

Однако стоит помнить, что культивируемая Шатцем сложность – надстройка над очень твердыми убеждениями, в соответствии с которыми он в любой ситуации, будь то борьба с наследием колониализма, палестино-израильский конфликт или протесты против системного расизма в США, поддерживал угнетенных. Между тем внешне сходная позиция российских либералов слишком часто, к сожалению, оборачивалась равнодушием к страданиям других, дефицитом солидарности и желанием отождествиться с сильными. Занятая борьбой с фантомами советского прошлого, отказавшись по этой причине от демократической традиции XIX века, избегая «идеологии», принципиальных позиций и взглядов, игнорируя социально-экономические нужды других слоев населения, либеральная интеллигенция предпочла политической ангажированности в лучшем случае эстетский эскапизм и практически без боя сдала культурную гегемонию в стране другим социальным и политическим группам. Катастрофические последствия этого мы наблюдаем теперь ежедневно. Российской публике стоит еще раз глубоко обдумать вопрос о политической ангажированности интеллектуалов, об ответственности, налагаемой образованием, о «духовной обеспеченности и существовани[и] на культурную ренту»<sup>7</sup>, за которые было бы хорошо расплачиваться, о разnochинцах и их наследии, об угнетенных, которых следует слушать и поддерживать. Сборник эссе Шатца с его примерами политической вовлеченности отдельных людей и сообществ в условиях борьбы колоний с метрополиями, диалектики национальных и имперских языков и культур может оказаться здесь очень поучительным чтением. Шатц признается, что один его текст о франко-алжирской войне был «способом непрямого комментирования» (р. 309) палестино-израильского конфликта. Американские, французские и арабские постколониальные сюжеты заслуживают внимания российского читателя сами по себе – но с их помощью можно также думать и о гораздо более близком горе.

6 Берлин И. *Обязательства художника перед обществом...* С. 56; Он же. *Отцы и дети...* С. 169.

7 Мандельштам О.Э. *Поэт о себе // Он же. Сочинения.* М.: Художественная литература, 1990. Т. 2. С. 310.